

IV. Философия и учение об обществе

К. М. Кантор

Логическая социология Александра Зиновьева как социальная философия

Какую бы сферу духовной деятельности А. Зиновьев ни делал предметом своих исследований, он ничего не принимал на веру. Принцип «подвергать все сомнению» он распространял на тысячелетия устоявшихся способов постижения мира и, конечно, философия не избежала его критического переосмысления. Сколько философских учений, школ, направлений сменяли друг друга, начиная с древнегреческих! Они не отличались взаимной терпимостью. Аристотель отвергал постулаты своего учителя Платона, как Платон своего наставника Сократа. Но ни один, ни другой не отвергали нацело учения своих предшественников. Они даже полагали, что развивают идеи своих учителей, когда вступали на свою собственную тропу.

Историки философии в большинстве своем стояли на точке зрения филиации идей, считая философию неизменным ингредиентом человеческой духовности. Содержание философских идей от эпохи к эпохе, от страны к стране, от философа к философу менялось. Иногда радикально, но философия как тип духовного производства сохранялась.

Для Аристотеля философия была «наукой наук». Корпус сочинений Стагирита включал в себя метафизику, гносеологию, логику, этику, политику, эстетику, лингвистику, диалектику, физику, астрономию.

Стремление охватить все естественные и социальные стороны бытия в философии сохранялась до XIX в. — до Гегеля. Со времен античности от философии постепенно стали «отпочковываться» специальные науки: естественные (физика, астрономия), социальные (социология, этика, эстетика), методология (логика и диалектика). Правда, философское происхождение во всех специальных науках по-прежнему просматривалось и просматривается сегодня.

Основоположники научного социализма полагали, что они создали именно науку (которую, к слову сказать, невозможно определить иначе как только через имя одного из них). По их мнению, от старой философии остались только логика и теория познания и будто бы все содержание метафизики (учения о бытии) растворилось в специальных науках.

По словам авторитетного знатока (до последней строчки) философии Гегеля и учения Маркса, Герберта Маркузе: «даже ранние сочинения Маркса не являются философскими. В них содержится отрицание философии, хотя и выраженное философским языком. Конечно, некоторые фундаментальные понятия, разработанные Гегелем, неожиданно дают о себе знать в процессе перехода от Гегеля к Марксу, однако подход к марксистской теории не должен сводиться к рассмотрению метаморфоз, которые претерпели старые философские категории. В теории Маркса любое понятие имеет принципиально иное основание, подобно тому, как любая новая теория имеет новую концептуальную структуру, которую нельзя вывести из предшествующих теорий» (Маркузе Г. Разум и революция. СПб.: «Владимир Даль», 2000. С. 332) Примерно то же можно сказать и о Зиновьеве. Даже ранние сочинения Александра Зиновьева не являются философскими. В них содержится отрицание марксистско-ленинской философии и издевательство над современными философами, особенно преподавателями философского факультета МГУ. Этот первый изустный, сократический период творчества Александра я называю Философским сатириконом. Зиновьев был неистощим на шутки и розыгрыши по адресу философии диалектического и исторического материализма, его творцов и ядовит к профессорскому и аспирантскому составу философского факультета МГУ. Послушать импровизированные коридорные минилекции Зиновьева сбегались студенты и аспиранты всех курсов, а то и преподаватели. В хохмах (любимое словечко Зиновьева) и прибаутках его — студента первого курса — слушатели выклевывали зерна таких философских истин, каких им не приходилось слушать у профессоров.

Учиться Зиновьеву у преподавателей было нечему. Дело не только в том, что еще до Великой войны с гитлеризмом он успел

окончить первый курс элитарного ИФЛИ, но и в том, что он еще до войны успел изучить и Канта, и Гегеля, и Маркса, и ничего о них вразумительного от преподавателей услышать не мог. Их поверхностное знание корифеев философии Сашу удивляло и возмущало. Кого же они могли воспитать?

Попадались в нашей среде, конечно, люди вроде Учителя (имя собирательное). Но усилия их были тщетны. Либо о их результатах никто не хотел знать, либо они вынуждены были приписывать их какому-то другому (классикам марксизма, Канту, Гегелю, Кьеркегору, Чернышевскому, Бергсону, Сартру и т. д.). Из своих рядов философский ареопаг философского факультета выдвинул аспиранта, потом профессора Барабанова. Его высказывания — сливки научности факультетской философии. На описании речений Барабанова Саша и оттачивал свое сатирическое перо. Далее я привожу высказывания Барабанова в изложении Александра Зиновьева.

«Мое отношение к коммунизму всегда было многоплановым. С одной стороны, я готов вступить с ним в борьбу, ибо боюсь, что он скоро доразвивается до полнейшей отвратительности и тошнотворности. А с другой стороны, я готов за него сражаться, ибо боюсь, что если не он, то передовые и прогрессивные борцы придумают гадость еще похлеще этой. С ним худо, но без него еще хуже будет — вот в чем загвоздка. Дуболектика общественного развития такова, что если уж коммунизм появился, то все, что появится после него и вместо него, будет еще хуже. В осознании этого рокового обстоятельства и состоит глубочайшая трагедия мыслящих представителей моего поколения. Дело не в том, что мы не верим в коммунизм, а в том, что мы не верим в то, что его можно избежать или изобрести что-то получше» (Желтый дом. Т. 1. С. 23. Lausanne: Editions L'Age d'Homme, 1980). Зиновьев говорит с учителем: «Гвардию советской идеологии составляют философы. Учитель, с которым я иногда обсуждаю проблемы идеологии (так я называю науку о советских философах) считает, что идеология — единственная область науки, где диалектический метод чувствует себя на месте. Вот уж где все течет, все изменяется, все переходит в свою противоположность (как говорит Барабанов, противоположность). Одного и того же философа можно отнести и к одноклеточным, и к червям, и к гадюкам. Вот, например, академик Фелькин. Вместе с Канарейкиным и Петиним зачинал культ Сталина. Посадили не одну сотню своих коллег и сослуживцев. По идее их надо было бы судить. Но они уцелели и даже возвысились. Почему? Да потому, что по уровню

интеллекта относятся к одноклеточным, по изворотливости — к блохам, по аппетитам — к шакалам. А академик Канарейкин по подлости может быть причислен к гадюкам, а по способности впадать в слезливое состояние на марксистские темы их следует отнести к певчим птицам.

Не марксизм, не ленинизм, а сталинизм образует сущность советской философии, ибо сталинизм и есть та мышшь, которую родила гора марксизма и ленинизма» (с. 42). А вот о барабанизме как четвертой составной части марксизма. Барабанизм существовал давно и процветал в Институте философии, но название он получил «по имени старшего научного сотрудника нашего института доктора философских наук Барабанова. «Почему? Вовсе не потому, что Барабанов произносит чушь чаще, чем другие, или что его чушь чушистые чуши других. А потому, что он кроме этого ничего не произносит. Заслуга Барабанова состоит в том, что он привел барабанизм в стройную систему и выделил его в особую часть марксизма. Основные постулаты барабанизма: 1) маркизм, 2) легавый маркизм. Английские экономисты и Гегель разработали метод «восхождения от абстрактного к конкретному» для анализа сложных общественных систем. Маркс хорошо овладел этим методом. Ленин о нем уже не имел понятия. А при Сталине за него расстреляли бы. А ведь этот метод и был одним из проявлений диалектического метода мышления вообще. И без него в наших делах ничего толком не поймешь. Запутаешься в трех со снах. Действительно (и в этом прав Барабанов): не марксизм, не ленинизм, а сталинизм образует сущность советской философии, ибо сталинизм и есть та мышшь, которую родила гора марксизма и ленинизма. Барабанов продолжает: принципы марксизма-ленинизма сформулированы так, что их даже пересказать невозможно. И снова Барабанов: один из слушателей Высшей партийной школы, он (Барабанов) выбрал в качестве темы дипломной работы учение Спинозы о субстанции. Кто-то сказал ему, что Спиноза — еврей. Барабанов наложил в штаны. Но в порядке самозащиты сослался на то, что Маркс тоже еврей. Тут вступает с хохмами Зиновьев: Маркс в отличие от некоторых этого не скрывал. Потом, Маркс еврей лишь наполовину, к тому же отъявленный антисемит, называвший евреев не иначе как «грязными иудеями». Он даже хотел устроить еврейский погром Герцену, жившему неподалеку от него, да Энгельс отсоветовал. А при чем тут Энгельс? — удивился Барабанов. Как же при чем? — удивился в свою очередь Зиновьев. — Он же диссидент, а это значит — переодетый еврей. — А как же мне отказаться от Спинозы? — Очень просто. Скажи

профессору словами чеховского героя: «Я вам не Спиноза какой-нибудь, чтоб ногами кренделя выделывать». — А Чехов правда так говорил? Ну, я спасен. Барабанову принадлежат еще такие афоризмы: «Марксизм не догма, а руководство к бедствию». И другой вариант: «Марксизм не догма, а руководство к ней». Но не все так эстрадно было на философском факультете

Александр Зиновьев критически овладел диалектикой и Гегеля, и Маркса. Как и Маркс, он перешел от философии к социальной теории, но при этом не отбросил целиком философию, конденсируя ее в самобытной социальной философии.

Основоположники поспешили похоронить философию. Еще при их жизни и особенно после их смерти возникли десятки новых направлений и школ. Тем не менее преждевременные «похороны» философии повлияли, как я думаю, на А. Зиновьева. Он отошел от метафизики, которую можно назвать сердцевинной философии, и целиком посвятил свое творчество логике в ее самых различных ипостасях: математической, многозначной и т. д.

Еще студентом он создал собственную логическую концепцию и тогда же приобщил к своим открытиям способных парней философского факультета МГУ. Среди них были такие незаурядные личности, как М. Мамардашвили и Г. Щедровицкий. В жанре сатиры «Зияющих высот» Зиновьев вывел Мамардашвили под именем Мыслителя. Он не ошибся. Хотя в то время Мераб не одарил еще мир плодами своего интеллекта, работами о Канте, Декарте, Прусте, исследованиями топологии сознания, в коих запечатлел свое «мерабозрение». Мамардашвили разрабатывал науку о сознании, тогда как другой ученик А. Зиновьева, Щедровицкий, — науку мышления, которую он оторвал от сознания, относя сознание к человеку, а мышление считая вне человека находящейся самостоятельной субстанцией. По Щедровицкому, не человек мыслит, а мышление мыслит через человека. И Мамардашвили, и Щедровицкий оказали заметное влияние на отечественную философию. Не следует заблуждаться, это было, по сути дела, влияние на философскую культуру не столько их самих, сколько их учителя А. Зиновьева, который сочетал в своих произведениях и критическую теорию сознания, и науку о мышлении. Я хорошо знал и Мамардашвили, и Щедровицкого. Меня поражала начитанность Мераба. Он свободно знал кроме грузинского и русского немецкий, французский, английский, итальянский. Мераб учил испанский на моих глазах в поезде по дороге в Дом творчества художников и в самом Доме, где койки наши стояли рядом, — с испанской книжкой он засыпал. Когда в Москву приехал мой друг — Томас Мальдонадо,

аргентинец, многие годы живущий в Милане, я, казалось бы, мог разговаривать с ним по-испански, но, желая удостовериться, как хорошо знает Мераб итальянский и еще более желая познакомиться двух замечательных людей, я напросился с Мальдонадо в гости к грузинскому Сократу. Меня поразили комнатка-пенал и поведение хозяина. Никакой показухи. При нас стер пыль с полированной поверхности стола, поставил на него бутылку дешевого церковного вина, и ничего больше. Уселись. И медленно, прерываясь раздумиями то одного, то другого, зашагала беседа. Обоих интересовала топология сознания. Аргентинец более слушал. Говорил Мераб. Ему нравилось либо загадочно молчать, либо уж мыслить, то вслух. По-итальянски говорил Мераб без сучка без задоринки.

С Щедровицким я сошелся ближе во ВНИИТЭ. Я формировал лабораторию теории дизайна — технической эстетики. Мне нужны были методологи. Я пригласил Георгия Петровича, помятуя его ученичество у Зиновьева в МГУ. Он попросил взять с собой еще четырех сотрудников. Начальство мне доверяло, ибо я был инициатором возрождения дизайна в СССР — даже сам термин «дизайн» укоренился в языке с моей подачи. Его начали употреблять к месту, а чаще не к месту. Ни сам Щедровицкий, ни его команда ничего не слыхали о дизайне, не мыслили в нем ни бельмеса. Но Щедровицкого это нимало не смущало. Он полагал, что его метод схем и цифр есть отмычка всех возможных видов человеческой деятельности, всех наук и искусств. Уж если он пригодился в математике, то наверняка сработает и в дизайне. По каждому поводу и без повода Щедровицкий ссылался на Александра Зиновьева. Это меня подкупало. Каким же образом Щедровицкий узнал, что такое дизайн? Как все другое, к чему он приобщался, чтобы затем своим методологическим ключом открыть сезам дизайна... Щедровицкий пригласил меня к себе домой, включил громадный магнитофон и вместе со своим ученым адъютантом Генисаретским слушал мой безостановочный четырехчасовой рассказ об истории и теории дизайна. Это была моя история и моя теория дизайнера, не заимствованная не из каких книг о дизайне, которых тогда и на русском, и на английском языке было превеликое множество. Прошла всего неделя, и Щедровицкий, к немалому моему удивлению, предложил прочитать доклад по истории и теории дизайна как результат своей собственной разработки. Это был, собственно, мой рассказ под магнитофон, разукрашенный множеством схем, начертанных мелом на грифельной доске. Я не возмущился плагиатом. Я же сам хотел, чтобы мое понимание дизайна стало всеобщим и безымянным. А Щедровицкий рассказывал обо всем энергично, вырази-

тельно, заразительно, Я сошелся с Георгием. Мы часто прогуливались по аллее, где расположен был наш институт, и неизменной темой наших разговоров был феномен Зиновьева. Щедровицкий поражался гениальности Александра Александровича, которому считал себя лично обязанным, но неизменно добавлял, что культуры у него маловато. Я возражал. Я-то знал, что читал Зиновьев. Западную поэзию он читал в подлинниках, а русскую наизусть от Державина и русских стародавних песен бесчисленно.

Из современников ценил Сельвинского, Есенина, Светлова. А любил самозабвенно Владимира Маяковского. Я уж не говорю о специальной философской и логической литературе, которую от Аристотеля до наших дней хранил он в памяти своей. Мамардашвили обиделся на своего учителя Зиновьева за образ Мыслителя в «Зияющих высотах», который некими чертами походил на прототип. Мераб действительно любил вкусно покушать (а кто не любит?) и действительно любил красивых женщин (а кто из сильных и одиноких мужчин их не любит?), зато как он был заботлив, как умел красиво ухаживать. Когда мы втроем (третьим был Ю. Левада) шли на дружеские посиделки к двум прелестным женщинам — Инне Филалковой и Кларе Ким, Мераб единственный приносил хороший букет цветов. Мераб был сдержан, малоразговорчив. Но философские дамы хотели знать последние философские новости. А они были только у Мераба. Эти новости были всегда новостями его собственных размышлений или сиюминутных философских импровизаций, глубоких и остроумных. Разговор неизменно заходил о Зиновьеве. Он многим был обязан Саше — и кандидатской, и докторской диссертациями, ценил и любил его, но никогда не поступался своим достоинством. Новейшую западную литературу он знал превосходно. Может, поэтому Мераб, как и Щедровицкий, сожалели об узком культурном кругозоре Зиновьева. И напрасно. Удостоверяю: его начитанность было ошеломляющей. Он только никогда не кичился ею и избегал цитирования источников, когда можно было обойтись и без них. Я рассказал о двух наиболее самобытных учениках Зиновьева, которые создали собственные школы, чтобы читатель понял, как в рутинной атмосфере философского факультета МГУ благодаря Александру Зиновьеву исподволь созревала истинно философский факультет. Далеко не все заслуживало сатиры.

Сторонники учения Маркса и Энгельса, особенно в России, утверждали, что марксизм есть философия. При этом они не могли указать ни одного философского сочинения Маркса, кроме ранних «Философско-экономических рукописей», написанных еще до

«Манифеста». На русском языке рукописи появились лишь в 60-х годах и породили безуспешные попытки найти чисто философским идеям Маркса место в целостном его учении. Правда, Маркса выручил Энгельс, которому принадлежат три философских произведения: «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии», «Анти-Дюринг», «Диалектика природы». И хотя принято считать, что все, что написал Энгельс, есть выражение взглядов двоих, трудно предположить, чтобы Маркс подписался под «Диалектикой природы». Собственно говоря, Маркс и Энгельс сами не повинны в том, что их возвращали в лоно философии — повинен Ленин, возведший их учение в ранг именно философии и притом высшей ступени ее развития. Догматическую форму философскому учению диоскуров придал Сталин своим очерком «О диалектическом и историческом материализме». С тех пор невежественная книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» была объявлена Эверестом мировой философской мысли, а собственное философское сочинение генсека — победным флагом, водруженным на философской вершине. Социальный престиж философии при Сталине был очень высок. Скорее всего, потому, что так называемая марксистско-ленинская философия была камуфляжем сталинской идеологии, хотя, впрочем, отождествление учения Маркса с идеологией никого не смущало.

Предаваясь логическим исследованиям, А. Зиновьев готовил философскую бомбу в виде ядра марксовской диалектики, взорвавшуюся на ученом совете философского факультета в 1954 г. (речь идет о диссертации А. Зиновьева «Восхождение от абстрактного к конкретному»). Только потому, что философский синедрион ничего не понимал в предмете, исследованном А. Зиновьевым, его не посадили. «Восхождение» — это фундаментальное антисталинское исследование при жизни генсека писалось втайне и распространялось его учениками — «новейшими перипатетиками». Защита «Восхождения» была событием не только в жизни философского факультета. Зал ученого совета, где проходила защита, не вмещал всех желающих. Многие приехали из других городов. Диссертация «как антимарксистская» была «завалена». Ее пришлось защищать дважды — еще раз на ученом совете факультета и затем в ВАКе, где Зиновьеву все-таки присудили кандидатскую степень. Вспоминаю, что провал на ученом совете переживался им и его учениками как триумф. И это был триумф. Ведь отклоняли «Восхождение» вяло, нехотя, через силу, а дискуссия была обстоятельной, длительной, непримиримой и для Зиновьева победной. Зиновьев держался спокойно, с достоинством, говорил свои

обычным глуховатым голосом, не защищался, а нападал, выявляя невежество первосвященников марксизма-ленинизма, их незнание краеугольных методологических построений доктрины Маркса. Членов ученого совета охватила паника. Из судей защита превратила профессуру в подсудимых, привлеченных по статье идеологического пустозвонства, а для студенческой аудитории защита была ликбезом марксистской диалектики. Философские наставники Зиновьева усвоили как «Отче наш» формулу Ленина — от живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике. Для них движение мышления от живого созерцания означало движение от конкретного, а Зиновьев се перевернул. Докторам философии было невдомек, что у Зиновьева речь идет о конкретном в мышлении, а не в реальности, а в мышлении процесс познания начинается с выделения какой-то отдельной черты реального объекта, который не может не выступать в мышлении как абстракция. И от абстрактного в мышлении, путем тонко разработанных Зиновьевым процедур перехода к конкретному в мышлении, путем накопления этих приемов, связывания множества таких абстрактных определений и возникает конкретное знание реального объекта.

При понимании процесса познания по формуле Ленина абстрактное мышление вообще элиминируется. Только благодаря применению метода восхождения от абстрактного к конкретному, к образованию конкретного знания как единству многообразных определений переход человека к практике может быть эффективным. Так, третируя философию, применяя изобретательно логический инструментарий, Зиновьев открыл, а точнее говоря, создал тот последовательный ряд процедур (этапов), через которые проходит процесс познания. До Зиновьева никто из адептов гегелевско-марксовской диалектики не мог объяснить этот мыслительный процесс. Э. Ильенков, торжествуя, удовлетворился открытием того, что у Маркса значило «абстрактное», а что «конкретное». Для той поры это было открытием. Ильенков был прирожденным мыслителем, хорошим человеком и добрым другом. Но не чета Зиновьеву.

В созданной им науке о логическом интеллекте, которую он назвал «интеллектологией», А. А. Зиновьев объединил собственно логику (учение о мышлении) с онтологией (учением о бытии) и гносеологией (учением о познании). Для синтеза атомного ядра философии Зиновьев посчитал необходимым свести все проявления сознания к материальной основе. Он так и пишет: «Рассматривать человеческое сознание как особую идеальную (нематериальную) субстанцию, принципиально отличную от субстанции материальной, есть дань религиозному мракобесию и идеалистической фи-

лософии, которые являются компонентом идеологической реакции, начавшейся в конце XX в. с крахом советского коммунизма и порождающей тотальное помутнение умов... равное тотальному идеологическому оболванию людей» (с. 12). Сказано грозно, но не доказательно. А стиль ленинских ругательств по адресу Маха и Авенариуса, которых (как это доказал мне Зиновьев еще в 1947 г.) Ленин не знал! Или же ленинских замечаний на полях «Науки логики» Гегеля: «Боженьку жалко! Сволочь идеалистическая!»

К счастью, совокупность собственных философских взглядов Зиновьева частично опровергает злополучные высказывания такого рода. Вкладом Александра Александровича в философию является логическое обоснование истинности философии и его методов. Он ставит логику впереди философии. Эту новацию можно считать переворотом в понимании соотношения философии и логики, в котором логика в прямом и переносном смысле превращается в царицу духовных знаний.

Логика прежде ютилась на задворках философских трактатов и факультетов. А Зиновьев вернул логике престиж первоначальной духовной дисциплины — обязательной пропедевтики *per se*. Вот это новаторское обобщение: «Логическая обработка понятий и утверждений, отражающих диалектику бытия, устанавливает сферу применимости и уместности диалектики как учения, удовлетворяющего критерию научности. Диалектика как учение очевидным образом лишена смысла в математике и вообще в так называемых точных науках, в которых объекты создаются определениями понятий, но вполне правомерна в сфере эмпирических наук, объекты которых существуют независимо от исследователя и его понятий. Но даже в этой сфере далеко не всегда есть надобность в диалектике. Условия применимости диалектики оказались ограниченными самими ее понятиями, а надобность в ней — характером исследуемых объектов. Сфера социальных исследований является такой, да и то в ограниченном смысле» (Фактор понимания. С. 91—92). А. Зиновьев по этой причине считает «Диалектику природы» заблуждением соратника Маркса. Собственно, негативное отношение к знаменитой книге сложилось задолго до Зиновьева и было принято в старой марксистской литературе.

Но справедливо ли оно? Сомнительно ограничение сферы действия законов диалектики только общественной жизнью в свете новейших открытий астрономии.

Заслуживало бы внимания то обстоятельство, что Сталин исключил «отрицание отрицания» из законов диалектики. Почему он так поступил. Случайно ли? Думаю, что нет. Сталин не допус-

кал возможности возврата к капитализму после отрицания капитализма победившим социализмом, а возврат тем не менее произошел, причем на протяжении жизни всего одного поколения. В данном случае как раз и сработал закон отрицания отрицания. Он неоднократно срабатывал и прежде. В политике этот возврат Сталина в одном отношении — к Николаю I, в другом — к Ивану Грозному. Без закона отрицания отрицания необъяснимо действие закона борьбы противоположностей. Без него провисает возврат к коммунизму первохристианства, к обществу «эссеев», осуждение Христом частной собственности и возврат к ней современных опереточных отцов церкви и рвущейся к изобильному потреблению христианской паствы.

Логика как критерий истинности основополагающих философских понятий проста и доступна. Зиновьев это продемонстрировал на примере определения понятия материи. Философствующие индивиды могут негодовать, но они не в силах возразить логическим суждениям автора «Зияющих высот»: «Все известные мне философские онтологические учения, включая диалектический материализм, не истинны и не ложны, поскольку фигурирующие в них языковые выражения не определены в соответствии с правилами логики. Они просто бессмысленны. Возьмем слово “материя”, являющееся своего рода божком марксизма (точнее — Ленина. — К. К.). Общеизвестно определение материи, приписываемое Ленину и считавшееся вершиной философской премудрости. Вот оно: “Материя есть объективная реальность, существующая вне нас, независимо от нас и данная нам в ощущениях”. Согласно правилам логики определение такого типа разделяется на определяющую часть, в которую входит определяемый термин (в данном случае слово “материя”) и определяющая часть, в которую входят термины, смысл которых должен быть известен (и понятен!) до построения определения и независимо от него. В данном случае в определяющую часть входит выражение “объективная реальность” (родовой термин) и “данное нам в ощущениях” (видовой термин). А что такое объективная реальность? Думаете, это понятнее, чем материя? Попробуйте найти ей мало-мальски вразумительное определение. Вы сами убедитесь в том, что тут ясности ничуть не больше, чем в отношении материи. Одна неясность заменяется другой, и создается иллюзия понимания» (там же. С. 122–123). А Зиновьев показывает полную беспомощность ленинцев дать вразумительное определение и понятие объективной реальности.

«Объективизация субъективного и субъективизация объективного суть обычные явления даже в реальных науках», — пи-

шет Зиновьев, — не говоря уже о том, что творится вне ее» (там же. С. 125). Но ведь этот двусторонний процесс объективизации и субъективизации был бы невозможен без признания самостоятельной сферы идеального. Настаивая на приоритете логики в делах мышления, Зиновьев декларирует: «Диалектический подход к явлениям бытия не означает, будто при этом теряют силы законы логики» (там же. С. 151). А что касается самой диалектики, то о ней прозвучала зиновьевская инвектива: «То трюкачество с диалектикой (А. А. в данном случае употреблял в насмешку слово “дуболектика”. — К. К.), которое имело место в прошлом, сейчас его почти нет, поскольку диалектику вообще отбросили вместе с марксистской идеологией, что было связано с логической безграмотностью и помутнением умов» (там же. С. 151).

Считая, что диалектика поглощается логической методологией, Зиновьев тем не менее выступает как страж диалектики. Достойно уважения его признание: «Я считаю своим долгом, однако, упоминать о диалектике, поскольку она была и является реальным фактором человеческого интеллекта» (с. 151–152).

Казалось бы, в этой связи он воздаст должное своим учителям диалектики Гегелю и Марксу, на деле он скорее развенчивает их: «Гегель, который сделал самый значительный вклад в диалектику, мистифицировал ее в большей мере, чем кто-нибудь другой. Он ограничил число законов диалектики несколькими, перечисленными Сталиным, что и стало основным содержанием текстов на эту тему. Маркс взял диалектику на вооружение в своих сочинениях и несколько рационализировал ее (так Зиновьев объясняет то, что Маркс высвободил диалектику из идеалистической системы Гегеля и поставил диалектику с головы на ноги. — К. К.), но он (Маркс) не дал ее систематического построения, ограничившись отдельными разрозненными замечаниями» (там же. С. 165). Систематического построения, как Гегель, действительно не дал. Но только логика «Капитала» позволила Зиновьеву «расшифровать» диалектику восхождения от абстрактного к конкретному. Этим Александр Александрович не ограничился.

Зиновьев сообщил первотолчок развитию советской конкретной социологии, но очень скоро ему самому пришлось бороться с порожденной ею таблицеманией. Преклонение конкретной социологии перед цифирью Зиновьев назвал «террором эмпиризма». А. Зиновьев считал, что с 70-х годов у нас началась буквальная «оргия величин», эпоха количественного взгляда на социальные явления. «Изобилие величин стало не столько средством достижения истины, сколько средством достижения ее сокрытия» (там

же. С. 169). Это замечание А. Зиновьева сохраняет свою актуальность по сию пору. И боюсь, буйство величин в социологии еще не скоро прекратится, потому что теоретической социологии у нас нет. Единственная теоретическая социология — это та, которую создал А. А. Зиновьев. Ее он назвал «логической социологией». Она еще не успела стать достоянием профессиональных социологов. Открещиваясь от Маркса, отечественные социологи пробавляются тем, что через черный ход своих писаний протаскивают крохи марксовых мыслей об устройстве общественной жизни, — больше они ничем не располагают.

Но являются ли философские и социологические взгляды Маркса научными? Зиновьев уверен, что нет: «Один из самых выдающихся умов в истории человечества — Маркс — создал в общем и целом величайшую в истории нерелигиозную идеологию, а не науку, хотя стремился к научному пониманию общества и был убежден, что создал именно таковое. Сколько лет марксизм превозносился как самая что ни на есть подлинная наука об обществе. Сколько миллионов людей было в этом убеждено и все еще убеждено» (там же. С. 171–172).

Два соображения вызывают эти рассуждения. 1. Само понятие «идеология» у Зиновьева не определено. Оно многозначно. Далее, не выяснено, возможно ли, чтобы такая научная идеология, как марксово учение, не содержала бы (при допущении, что оно идеологическое по преимуществу) значительных блоков научности? 2. Понятие «идеология» не есть ругательство, статус идеологии не менее высок, чем статус науки, просто он иной. Для существования общества идеология не менее важна, чем наука, а в иные периоды более важна, чем наука (кстати говоря, мысль о социальной равноценности идеологии и науки для функционирования социума принадлежит самому Зиновьеву). Автор «Фактора понимания» полагает, «что именно классовая позиция Маркса была одной из причин, сбивших его с научного подхода к обществу и к социальной эволюции на идеологический» (там же. С. 173).

Не наоборот ли? Только став выразителем интересов римского пролетариата, труждающихся и обремененных, Христос смог создать учение, имеющее общечеловеческое и всемирное значение. Ибо только люди, принадлежащие к классу, лишенному общечеловеческих условий существования, в своем деятельном стремлении снять это исторически возникшее отчуждение восстанавливают не только свою человечность, но и человечность своих эксплуататоров, односторонность которых навязывает им необходимость быть господами, угнетателями. Сохранять объективность, принимая

классовую структуру общества как незыблемую, одинаково оберегая интересы противоборствующих классов ради того, чтобы добиться научности, не означает ли неизбежно превращение такой научности в идеологию господствующего класса. Рассматривая философский смысл классовой позиции Маркса и Энгельса, сознательно ставших на сторону «труждающихся и обремененных» в XIX в. в Западной Европе, можно сказать, что она была тогда единственно возможной научной и общечеловеческой, ибо тогда рабочий класс был, «философски оценивая исторический процесс», олицетворением того «второго отрицания», которое доводит диалектический процесс до завершения, т. е. до отрицания отрицания, восстанавливающего полноту и полноценность человечности во всех классовых обществах. Маркс и Энгельс потому и заложили фундамент науки о социализме и коммунизме, что отказались от классового нейтрализма и усмотрели нерасторжимую связь интересов труждающихся и обремененных с общечеловеческими интересами. Оба они были противниками идеологии — превратного, извращенного сознания и утопизма как его разновидности. Верно, что они не создали социологии как систематической, отпочковавшейся от философии науки об обществе, как это сделал их современник, «отец социологии» Огюст Конт. Но как доказали многие исследователи, если в социологии Дюргейма, Вебера, Парсонса — этих признанных корифеев, есть что-нибудь научное, то лишь потому, что они заимствовали многое у Маркса и Энгельса. А когда социология Конта и его последователей входила в практику общественной жизни, то она становилась идеологической и в лучшем случае оплодотворяла вакханалию цифр конкретной социологии. В результате общество осталось без социологии как науки со своими особыми законами. Общественный запрос на теоретическую социологию удовлетворил А. Зиновьев. Он создал общую и частную теории социологии, избавив исследователей жизни общества от террора эмпиризма. Общая теория относится ко всему миру, частная теория — к советскому коммунизму. Свою коронную теорию Зиновьев создавал в стороне от контовской и парсонской традиции. Зиновьев назвал свою социологию «логической социологией», которую он разработал на основании результатов собственных исследований в логике и методологии науки. Едва ли не самым интересным и ценным требованием к новой социологической теории, которое выдвигает ее создатель, состоит в том, чтобы «логическая социология была наукой не описательной, а изобретательной» (там же. С. 176). Такой она и стала под пером А. Зиновьева. Аналогом логической социологии в искусстве является

творчество художественного авангарда начала XX в. — творчество Пикассо, Клея, Магритта, Аполлинера, Кафки, Шенберга, Малера на Западе и Филонова, Татлина, Маяковского, Хлебникова, Платонова, Шостаковича в России. Искусство всех их не изобразительное, не описательное, а изобретательное. Помимо изобретательства к методам логической социологии относится метод мысленного эксперимента, блистательно примененный Марксом в «Капитале». Надо сказать, что А. Зиновьев также мастерски владел этим методом.

Философия с тех пор, как она существует, самоопределялась не только как квинтэссенция мышления, но и как двигатель истории. Даже в древнегреческой философии, в обществе, которое не знало и не признавало истории, А. Ф. Лосев нашел элементы историзма и у Платона, и у Аристотеля, и у др. А. К. Поппер — апологет открытого общества — назвал Гераклита родоначальником теории историзма, каковую можно определить как энтропийную философию истории.

В русской культуре сложилась самобытная школа философии истории, наиболее оригинальным представителем которой, с моей точки зрения, был медиевист Карсавин. Но в социокультуре России все-таки преобладало негативное отношение к истории и к прогрессу как якобы основному атрибуту истории, а соответственно, и к философии истории. Притормозить, заморозить историю, чтобы она, не дай бог, не впала в прогрессистский соблазн Запада, стремился влиятельный мыслитель К. Леонтьев. Непримиимо был настроен против истории Л. Толстой. Отношение к истории в логической социологии Зиновьева исконно русское. Философия истории ей чужда. Логическая история в той мере, в какой она выступает как любомудрие, есть философия когда-то и как-то ставшего социума и с тех пор не претерпевающего существенных перемен: «Не изучение конкретной истории дает ключ к надежному пониманию социального объекта, а наоборот, изучение сложившегося (до известной степени) объекта дает ключ к научному пониманию конкретного исторического процесса, его формирования» (там же. С. 181). Зиновьев далее говорит, что логическая социология «ориентируется на изучение и логическое описание лишь того, что можно наблюдать в настоящем, современность, ее задачи — теоретическое осмысление результатов наблюдения существующей реальности» (там же. С. 182). Но коли так, логическая социология есть наука апостериори, эмпирическая, а не теоретическая дисциплина. И это до известной степени ее недостаток, а ее достоинство. «Без истории нет теории, но без теории нет даже мысли об истории», — примерно так говаривал

Н. Г. Чернышевский. Логическая социология — наука о современности — в философском отношении сугубо материалистическая. В коей под материей разумеется вся совокупность социальных объектов, начиная от отдельных социальных атомов (индивидов) и кончая разнообразными малыми и большими их комбинациями. Включая обширнейшие государства, империи.

Важно усвоить, чем не является понятие материи в системе логической социологии. Материя в логической социологии не является ни базисом, ни экономикой, ни производительными силами, ни производственными отношениями, ни внешней обществу природой (в том числе физической природностью людей), ни, как в предельных представлениях материалистической философии, космосом. Антимарксисты, а порой и марксисты называли философию Маркса экономическим материализмом. И Маркс дает повод для этих примитивных определений материализма. Диалектическое взаимодействие по Марксу понятий базиса и надстройки — не химера. Но это еще не определение материализма философии Маркса. Ее предмет — социокультура во всем разнообразии паттернов, по преимуществу западноевропейской социокультуры. И все-таки «базис» не то, что можно назвать материей в философии Маркса. Его философия есть самоопределение человека как микрокосма в своей социокультуре, в медиокосмосе и в макрокосмосе в качестве сотворца спинозовского Бога. Философия Маркса, таким образом, и материалистическая, и идеалистическая, в полном соответствии с природой общественного бытия. Деление всей мировой философии на материалистическую и идеалистическую, как это предлагал Энгельс, нонсенс.

Оно (это деление), как утверждал С. Франк, «выходит не только за пределы антитезы «материальное — психологическое», но и за пределы антитезы «субъективное — объективное» Оно сразу и «субъективное», и «объективное», как бы парадоксально это ни было с точки зрения наших обычных философских понятий» (Франк С. Л. Духовные основы общества. Нью-Йорк: ПОСЕВ—США, 1988. С. 141)

Что же касается философских взглядов А. Зиновьева, то они материалистические, но не в том ложном значении, какое приписывается Марксу, а собственные, зиновьевские. Идеалистическое измерение во взглядах Зиновьева отсутствует. Его взгляды — абсолютный философский материализм, именно абсолютный. Столь самостоятельного материализма история философии не знала. Материалистические претензии А. Зиновьева к общепринятому толкованию сознания не могут не шокировать не только идеалис-

тов, но и материалистов: «До сих пор живет и даже преобладает взгляд на человеческое сознание как на особую идеальную (нематериальную) субстанцию, принципиально отличную от субстанции материальной (вещной). Это разделение духа и материи и лишение духа материальности из религии перешло в идеалистическую философию (или наоборот), а из идеалистической философии — в «перевернутом виде» — в философский материализм. На самом деле сознание людей (мышление, дух) есть явление не менее материальное, чем прочие явления живой и неживой природы. Никакой бестелесной (нематериальной, идеальной) субстанции вообще не существует. Сознание есть состояние и деятельность мозга человека со связанной с ним нервной системой. Идеи (мысли) суть состояние клеток мозга и комплексы вполне материальных знаков. Казалось бы, можно предположить, что хотя бы знаки, которыми широко пользуются логика и логическая социология А.Зиновьева и многие другие научные дисциплины — идеальны. Если так считают, то, как полагает Зиновьев, только условно, в результате конвенции специалистов. А если всерьез: знаки, включая знаки языка, суть все без исключения материальные (вещественные, осязаемые, видимые, слышимые) явления. Никаких нематериальных знаков не существует. Такой «радикальный» материализм, скажут иные стойкие приверженцы незыблемой до сих пор традиции мировой философии, сродни обскурантизму. Стоит, однако, задуматься: не подтвердит ли современное вмешательство в структуру мозга и в нервную систему с целью лечения и изменения поведения человека правильность и этих «ни с чем не соотносимых» материалистических воззрений Александра Зиновьева? Не прав ли Александр Александрович, полагая, что и природные, и социальные законы, которые определенным образом связывают между собой эмпирические явления, тоже материальны, хотя наблюдать их невозможно — для обнаружения их нужны особые познавательные операции.

Материальные объективные универсальные законы — вот истинные тираны человечества, от которых оно не избавится никогда, ни при каких обстоятельствах. Отсюда следует пессимистический вывод (если не сказать «приговор»):

«В мире никогда не было, нет и не будет общества всеобщего благоденствия — не по произволу каких-то злоумышленников, а в силу объективных законов бытия». Отчасти, если не целиком, этот вывод антизиновьевский, перечеркивающий всю активную, критическую и созидательную, не мирящуюся с преднайденным состоянием мира и отечества деятельность революционера в науке

и общественной жизни. Мало о ком, как о Зиновьеве, можно сказать: «Его сознание — воплощение воли, упорства, пытливости, проницательности, проектности, фантазии, способности противостоять общепринятому. Ведь в горчайшем выводе А. Зиновьева отрицается не только учение Маркса о коммунизме, как наукообразная утопия, но Великая Октябрьская революция и вообще все революции — и социальные, и научные и технические. В чем же дело? Что произошло с Александром Александровичем? А произошло то, что происходит с каждым великим деятелем, — он «перешагивает через самого себя», как говорил Маяковский, когда он вступает в новый этап своего творчества. Если он почувствует необходимость, он готов отказаться от самого себя. Посредственности этого не дано. Пессимистический вывод о судьбе человечества сформулирован Зиновьевым в его последней предсмертной и изданной посмертно стараниями его жены, друга, соратника Ольги книге «Фактор понимания» — книге-завещании неутомимого искателя истины. Зиновьев синтезировал в той книге результаты всех своих исследований во многих областях гуманитарного знания, в том числе и в философии. Исследователю, вознамерившемуся идти по его стопам, Зиновьев предоставил возможность черпать знания из любого периода его творчества. Зиновьев противоречив? Несомненно. Как сама жизнь. Быть противоречивым — удел великих, стремящихся докопаться до первооснов человеческого существования. А Зиновьев стремился. именно к этому

В отличие от профессионалов (отечественных и зарубежных) Александр Александрович сосредоточил свое исследовательское внимание на вечных основах человеческого существования. Именно «основы» и есть истинный предмет зиновьевской логической социологии. Сам он избегает отождествлять логическую социологию с социальной философией, но по существу его ЛС есть социология в расхожем представлении о ее предмете и назначении и СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ в наиболее возвышенном и утонченном ее варианте Начнем *ab ovo*. Философия — любовь к мудрости. А что делать философу, если БЫТИЕ спустилось с заоблачных высот мистических абстракций на землю, в гущу социальной практики? Что делать, если здесь теперь сосредоточена вся мудрость мира? Вывод элементарен: философ тот, кто озабочен познанием законов общественной жизни, только материалист достоин звания философа. На этом и настаивает Александр Зиновьев.

Не как философ *par excellence*, а как социолог и социальный философ Зиновьев исследует причины победы Октября и почти столетнее торжество русского коммунизма в СССР. Для этого ему

пришлось, преодолевая свой антиисторизм, обратиться к русской истории. В предметно-тематическом русле профессиональной социологии (но, как всегда, неожиданно и наперекор общепринятому) Зиновьев считает, что актуальное русское самодержавие, православие и православная церковь, вертикальная и горизонтальная централизация жизни общества, власть вездесущей царской бюрократии, крестьянский «мир», отсутствие общегражданского института частной собственности были одной из предпосылок (истоков и гарантов) победы Октября и русского коммунизма. Все перечисленное суть элементы социалистического уклада, столетия существовавшие в России и определявшие жизнь России и при Николае II. На черты социалистического уклада открыл глаза императору Столыпин. Именно эти элементы, а не только царская охранка помешали премьер-министру сделать русскую деревню мелкобуржуазной.

После Октября молниеносно возродилась как якобы социалистическая вездесущая чиновническая и бюрократическая машина общественной и государственной жизни. Как только был ликвидирован класс помещиков, духовенства, крупной и мелкой буржуазии, уничтожена частная собственность середняков (этой «статочной сволочи», как говорил глава чевенгурской коммуны Четурной), была ликвидирована база пролетарской революции.

Рабочие и до революции составляли ничтожное меньшинство, а после войн — мировой и Гражданской — они растворились почти до неразличимости в массе русского населения. А массу составляло крестьянство — истинная Россия. Оно не могло стать базой пролетарского государства. Кто же мог? Кто оставался? Оставался чиновничье-бюрократический класс, крестьянская Красная Армия из крестьян, карательные органы (сверхвласть, как ЧК назвал А. Зиновьев, — тоже в основном из крестьян). Эти социалистические силы (да, да, социалистические) по способу организации действия и учредили сталинский социализм и русский коммунизм в городе и деревне. Книги А. Платонова «Город Градов», «Котлован», «Чевенгур» и стихи Маяковского против бюрократов и чиновников подтверждают парадоксальный вывод А. А. Зиновьева о социальных истоках русского коммунизма. Ленин говорил об этом иное. Он полагал, что Октябрь победил, поскольку Россия была слабым звеном в цепи империалистических держав, так это и было. Но советский коммунизм из «социалистической» отсталости России не выводился. Достоверней все-таки объяснение А. Зиновьева. Тем более что Зиновьев указывает все же на другой исток российского коммунизма. Вот тут-то и проявляет себя Зиновьев

как социальный философ. Он обнаруживает незыблемые начала человеческого существования (предмет социальной философии), и тут Зиновьев делает, как я полагаю, свое коронное открытие — объясняет характер действия универсальных коммунальных отношений. Он констатирует, что жизненный уклад всего сельского и отчасти городского, а также посадского населения России почти совпадает с фундаментальными законами социального бытия, поскольку этот уклад является дикарским.

Именно соединение этих двух истоков Октября сообщает логической социологии Зиновьева значение социальной философии XX и, возможно, XXI в. Чтобы правильно понять созданное Зиновьевым, обратимся к книге С. Франка «Духовные основы общества». В ней философ констатирует, что несмотря на свою давность (от О. Конта) «и на наличие огромной литературы (социологии) социализм доселе не имеет ни только определенного предмета, ни общепризнанных методов и научных традиций — в сущности, еще до сих пор нет социологии как определенной науки, а есть едва ли не столько же отдельных социологий, сколько авторов, о ней писавших... Социология с самого начала поставила своей задачей познать законы общественной жизни, аналогичные законам природы; она хотела и хочет быть положительной наукой об обществе и притом наукой по образцу естествознания» (Франк С. Указ. соч. С. 17—18). Такой социология не стала и не могла стать. С. Франк прав, утверждая, что социология как самостоятельная наука не состоялась в качестве аналога естественных наук, распространив на общество натуралистическое мировоззрение. Прав он также и в утверждении, что общественная жизнь не может быть сведена к познанию предметной, вещевой составляющей человека и общества. Зиновьев, на словах отвергающий общепринятые абстракции философского постижения глубинных основ человеческой жизни, на самом деле проникает до них, как в учении об универсальности коммунальных отношений, а также в учении об исходной клеточке (эмбрионе), из развития и дифференциации которой формируется система коммунальных отношений.

Клеточка коммунизма — это первичные деловые коллективы: заводы, фабрики, фермы, магазины, школы, больницы, институты. Клеточная структура — основа общества. Клеточка — это общество в миниатюре, а общество — разросшаяся до гигантских размеров клеточка. Конечно, это не Маркс. У Маркса клеточка — это товар, который разрастается в капитализм. Клеточка коммунизма обладает своей структурой. Она расчленена на более мелкие клеточки, каждая из которых имеет своих руководителей. Все работа-

ющие граждане суть служащие государства. Индивид и коллектив находятся в отношениях координации и субординации. Интересы коллектива всегда выше интересов индивида. Практически действующий принцип коммунизма — закрепощение индивида.

Несогласие с Максом не мешало А. А. Зиновьеву считать себя обязанным автору «Капитала». И хотя в свой сатириконовский период он нарисовал немало добродушных карикатур на бородатого классика, Зиновьев многократно выражал свое преклонение перед великим мыслителем и отважным человеком. Возражая Критику марксизма, он писал: «Познание реальности — это прекрасно. Но ради чего? Маркс познавал реальность с целью создания теории революционного действия. А для Критика познание — самоцель. Истина любой ценой! Он даже считает, что именно ориентация Маркса на революционное действие по переустройству общества исключила для него научное понимание реальности и превратила все его усилия в чисто идеологическое дело. Марксизм, претендовавший на высшую научность, стал лишь идеологией. Пусть так, но он стал действенной идеологией, больше столетия владевшей чувствами и умами людей» (Русская трагедия. М., 2005. С. 138, 139). Зиновьев называл себя самостоятельным государством. С еще большим основанием мог назвать себя так и Маркс, и вообще каждый самостоятельный деятель — мыслитель, философ, ученый, писатель. Рассказывают, Маяковский, знакомясь с Михаилом Булгаковым, представился так: Поговорим, как государство с государством.

Мыслитель как самостоятельное государство — фигура трагическая. Сократа — убили, Декарта и Спинозу изгнали из родных пенат. Зиновьева хотели убить или сгноить в сибирской ссылке. На него не раз покушались в Германии, куда изгнали, лишив российского гражданства. Об этом он написал стихи лермонтовской трагичности и силы

Линии привычные чертя,
 Рукам, ушам, глазам своим не веря,
 Я чувствую — вопят: катись ко всем чертям!
 Видали мы таких! Невелика потеря!
 Невелика, когда лишь горечь за душой,
 Никем не сокрушен, но никому не нужен,
 Когда и всем всегда чужой,
 Когда твой путь игольной дырки уже
 В извечной слякоти не сыщешь ясных фраз,
 В трясине серости не ощутишь опоры

В который, посчитай! И не в последний раз.
Пусты согласия, бесперспективны споры,
Порывы творчества — приманка для юнца,
Работа — боль от пяток до затылка.
Суть вдохновенья — ожидание конца —
Единственно бесспорная посылка.
Чего хочу? Какую нить я рву?
Куда иду? Какую радость рушу?
Свобода — шаг от камеры ко рву,
Бессмертье — червь, в мою ползущий душу.

Александр Зиновьев ошибся. Его имя сохранится в памяти потомства рядом с именами Петра Чаадаева и Николая Чернышевского.